

Дарья Дарсай

После моей смерти ОТКРОЙ



Дарья Дарсай

После моей смерти открой

«Автор»

2026

Дарсай Д.

После моей смерти открой / Д. Дарсай — «Автор», 2026

После разговора с врачом Катя покупает коробку флешек. «Открой, когда тебе исполнится десять». «Открой, когда впервые влюбишься». «Открой, когда почувствуешь себя одинокой». Никто не знает, что она записывает по ночам. Ни муж. Ни маленькая дочь. Ни Лиза — женщина, которая недавно появилась в их доме, чтобы помочь Кате пережить самые тяжёлые месяцы. Лиза слишком быстро становится незаменимой. Маша просит её остаться навсегда. Артём впервые за долгое время снова смеётся. А Катя всё чаще ловит себя на странном чувстве: рядом с этой женщиной её семье становится легче. Она должна быть благодарна. Но почему тогда ей так страшно? У Кати остаётся всё меньше времени, чтобы закончить записи и принять решение, о котором пока не знает никто. Решение, которое изменит жизнь каждого из них после её смерти.

© Дарсай Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	17
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Дарья Дарсай

После моей смерти открой

Глава 1

Глава первая. Черёмуха

Катя проснулась от того, что Маша дышала ей в лицо.

Не плакала, не звала — просто стояла у кровати, положив подбородок на край матраса, и дышала. Тёплое, кисловатое со сна дыхание трёхлетнего ребёнка, в котором молоко, вчерашнее печенье и что-то неуловимо сладкое, своё, Машино.

— Мама, — сказала Маша шёпотом. — Ты спишь?

Катя не открыла глаз. Она знала эту игру. Если открыть — всё, утро началось, его уже не остановить. Каша, колготки, левый ботинок, который Маша почему-то всегда прячет за диван, и двадцать минут на дорогу до садика, которые превращаются в сорок, потому что по пути голуби, лужи и «мама, подожди, я нашла палочку».

— Мама. Мам. Мааам.

— Мммм.

— Ты притворяешься.

— Нет. Я сплю.

Маша засмеялась — негромко, как будто боялась спугнуть — и залезла на кровать. Колени, локти, пятка в живот. Катя охнула.

— Ты тяжёлая стала.

— Неа, — Маша устроилась рядом, вжалась в бок. — Это ты лёгкая.

Артём лежал на своей половине, отвернувшись к стене. Спал он или притворялся — Катя давно перестала различать. Его спина в серой футболке, лопатки, родинка на шее — она знала эту спину лучше, чем собственные руки. Семь лет — достаточно, чтобы чужое тело стало продолжением твоего, или привычкой, или мебелью. Катя отогнала эту мысль и уткнулась носом в Машину макушку.

Волосы пахли детским шампунем. «Тропический остров», розовый флакон с пальмой — Маша выбрала сама, в магазине, два месяца назад. Встала перед полкой, нахмурилась (складка между бровей — Катина, один в один) и ткнула пальцем: «Этот. Потому что красивый».

— Мам, а сегодня в садике каша?

— Не знаю, зай.

— Если каша, то я не ем. Если макароны — ем. Если суп — смотря какой.

— Разумно.

— А ты на работу?

— Я дома работаю, помнишь?

— Помню. Ты сидишь и буквы пишешь.

Катя улыбнулась. В каком-то смысле — да. Она переводила чужие буквы в свои, и в этом был парадокс, который она так и не научилась объяснять: работа, в которой нет ни одного собственного слова, и при этом каждое слово — твоё. Сейчас она переводила Элизабет Страут, «Меня зовут Люси Бартон». Третий месяц. Не потому что сложно — потому что больно. Книга про мать и дочь, про больницу, про то, как мы говорим друг другу самое важное не словами, а паузами между ними. Катя переводила по два абзаца в день и курила на балконе, хотя бросила три года назад, когда забеременела.

Не курила. Стояла с незажжённой сигаретой во рту. Артём не знал. Или знал — и не говорил.

— Вставайте, — голос Артёма, хриплый, ещё ночной. Он перевернулся на спину, не открывая глаз. — Какой час?

— Семь двенадцать, — Катя глянула на телефон.

— Опаздываем.

— Мы всегда опаздываем.

— Вот именно, — он сел, тряхнул головой. Тёмные волосы, седина на висках. Ему тридцать пять, а виски — как у пятидесятилетнего. «Ранняя седина, семейное», — говорил он. Его мать, Нина Павловна, поседела в тридцать. Катя однажды пошутила, что это от характера. Артём не засмеялся.

Он встал и пошёл в ванную. Катя слышала, как он чистит зубы — методично, как делал всё. Два раза сплюнул, включил душ, выключил воду. Потом были полотенце, шлёпанцы и глухой стук закрывшейся двери. Артём двигался по утрам как механизм, выверенный за годы до секунды. Катя знала каждый звук, как знаешь музыку, которую слушаешь каждый день, — перестаёшь слышать, но замечаешь, когда она прекращается.

— Мам, я хочу платье, — Маша сползла с кровати. — Зелёное.

— Зелёное в стирке.

— Тогда зелёное.

— Маш, оно в стирке.

— Тогда. Зелёное.

Катя закрыла глаза на три секунды. Три секунды тишины, за которые нужно решить: воевать или сдаться.

— Ладно. Достану из стирки. Оно мягкое.

— Я люблю мягкое.

Нет, не любишь. Ты просто любишь побеждать. Это тоже моё, подумала Катя. Упрямство — в крови. По материнской линии, через три поколения женщин, которые не умели уступать. Бабушка не уступала деду, мать не уступала отцу (и отец ушёл — может, от этого, а может, просто ушёл, потому что так делают некоторые отцы, — уходят, и их причины перестают иметь значение после первых десяти лет без них).

Катя достала зелёное платье из корзины с грязным бельём, понюхала — вроде бы ничего, нормально. Пятно от сока на подоле было почти незаметным: если натянуть колготки повыше, его и вовсе не видно. Она одела Машу, попутно расчесала — четыре вопля, два «ай» и одно «ты мне больно делаешь» с такой трагедией в голосе, будто Катя выдирала зубы, а не колтун.

На кухне Артём варил кофе.

Он варил кофе как ритуал — в турке, на маленьком огне, стоя рядом и глядя на пену с тем же сосредоточенным выражением, с которым разглядывал свои чертежи. Кофе — единственное, что он готовил. Всё остальное было на Кате. Не потому, что он не умел или не хотел — просто так сложилось. Как складывается в каждой семье: кто-то готовит, кто-то чинит кран, кто-то оплачивает счета, кто-то помнит, когда заканчивается стиральный порошок. Катя помнила про порошок, про Машины прививки, про день рождения его матери, про то, что в ванной течёт вентиль, а в спальне третья слева половица скрипит, если наступить у стены.

— Я сегодня задержусь, — Артём разлил кофе. Его кружка — большая, чёрная, с отбитым краем. Катина — поменьше, белая, с полустёртой надписью «Париж» — привезла пять лет назад, из единственной совместной поездки за границу. Тогда ещё не было Маши, не было ипотеки, и деньги тратились так, будто они бесконечны. — В бюро совещание до семи.

— Ладно.

— Про Машу — я могу забрать, если...

— Я заберу. Мне всё равно нужно выйти, в издательство заехать.

Он кивнул и отпил кофе. Катя смотрела на его руки — длинные пальцы, обхватившие кружку. Руки архитектора. Она когда-то влюбилась в эти руки — раньше, чем в лицо. На какой-

то вечеринке, сто лет назад, в другой жизни. Он стоял у стены и держал стакан, и Катя увидела его пальцы и подумала: вот руки, которые умеют что-то строить.

Смешно, если вдуматься. Влюбиться в руки. Но в двадцать пять всё смешно, и всё — настоящее.

— Тебе бутерброд? — спросила она.

— Нет, я не...

— Ты не завтракал вчера. И позавчера.

— Я ем на работе.

— Ты пьёшь кофе на работе. Это не еда.

Артём поднял глаза. В них мелькнуло что-то — не раздражение, скорее усталость от знакомого маршрута разговора. Они проходили его сотни раз: она говорит «ешь», он говорит «я ем», она знает, что нет, он знает, что она знает, и оба делают вид, что этого достаточно.

— Ладно, — он взял хлеб, положил сверху сыр, откусил. — Довольна?

— Довольна, — Катя отвернулась к раковине. Вода, губка, тарелки. Маша за столом ела кашу, точнее — ковыряла её ложкой, строя из овсянки горку.

Живот заныл — глухо, привычно. Справа, под рёбрами, боль была похожа на кулак, который медленно сжимается.

Катя замерла и подождала, вслушиваясь в себя.

Боль отпустила. Ушла так же тихо, как пришла.

Гастрит? Стресс? Дедлайн по переводу, Маша, которая неделю спала плохо — зубы, последние, лезут? Артём, который задерживается на работе всё чаще? Да нет, просто обычная жизнь, обычная усталость, обычная боль.

Она рассеянно потёрла бок и продолжила мыть тарелки.

Дорога до садика — пятнадцать минут пешком. Можно на машине, но Катя любила ходить. Особенно в мае. Чистые пруды в мае — это отдельный вид сумасшествия: черёмуха цветёт так, что воздух становится густым, сладким, почти осязаемым. Катя вдыхала его и каждый раз думала, что если бы у счастья был запах, то вот этот — черёмуховый, с горчинкой, смешанный с сырой землёй и бензином — был бы точным.

Маша шла рядом, держала за руку. В зелёном платье, мятом, с пятном от сока, в синих колготках и красных кедах — одевала себя сама, поэтому результат каждый раз выглядел как протест против моды. Катя не спорила. Пусть.

— Мам, а почему деревья белые?

— Это цветы. Черёмуха.

— Черёмуха, — повторила Маша, пробуя слово на вкус. — А она вкусная?

— Горькая.

— Фу. А зачем тогда?

— Красиво.

— А зачем красиво, если невкусно?

Катя засмеялась. Вот так, в три года, формулировать вопросы, на которые у философии нет ответа.

— Не всё, что красиво, должно быть вкусным.

Маша подумала.

— Ну, может быть, — сказала она великодушно. — Но лучше бы было вкусно.

Во дворе садика — толпа родителей. Знакомые лица: мамы в спортивных штанах, папы в костюмах, одна бабушка в шляпе (каждый день в шляпе, даже зимой). Воспитательница Тамара Сергеевна, невысокая, круглая, вечно улыбающаяся, принимала детей у входа.

— Маша! Доброе утро! Как наша красавица?

Маша прижалась к Катиной ноге. Каждое утро — одно и то же: тридцать секунд застенчивости, потом — будто и не было. Катя присела, поправила лямку платья.

— Маш. Я заберу тебя в пять. Ладно?

— Ладно.

— Поцелуешь?

Маша поцеловала — быстро, небрежно, уже глядя через плечо, где Лёша из старшей группы катил по дорожке самосвал. Катя отпустила её и смотрела, как дочь бежит к группе — мелкая, быстрая, мягкое зелёное платье мелькает среди других детей.

Что-то сжалось в груди. Не боль — другое. Странное, беспричинное ощущение: запомни это. Вот эту секунду — как она бежит, как подпрыгивает на правой ноге, как оборачивается у двери и машет рукой.

— Пока, мама!

— Пока, зай.

Катя стояла ещё минуту. Потом развернулась и пошла домой.

Квартира без Маши и Артёма была другой. Тише, но не спокойнее — как театр после спектакля. Следы жизни повсюду: Машины карандаши на полу, Артёмова чашка в раковине, след от мокрого полотенца на дверце ванной. Катя прошла по комнатам — не убирая, просто трогая. Провела пальцем по корешкам книг на полке, поправила занавеску, подняла с пола Машиного зайца — плюшевого, серого, с оторванным ухом, которое Катя пришивала трижды.

Села за стол. Ноутбук, стопка распечаток, три ручки (красная, синяя, чёрная — у каждой своя функция) и открыла файл.

«Меня зовут Люси Бартон».

Она смотрела на строчку — английскую и свою, русскую, рядом — и не видела слов. Видела: стену за экраном, трещину на потолке, которая похожа на реку (Артём обещал замазать в прошлом году), свет из окна — косой, пыльный, майский.

Живот заныл снова.

На этот раз — длиннее. Не острая боль, а тянущая, как будто кто-то медленно закручивал винт. Катя положила руку на бок. Подождала. Боль не ушла — притаилась, стала фоном.

Она открыла браузер. Набрала: «боль в правом подреберье причины».

Диагнозы сыпались один за другим, наслаиваясь: гастрит, холецистит, камни в желчном, стресс, переедание, невралгия.

Катя закрыла вкладку. Налила себе воды. Выпила. Боль чуть отступила — или она перестала обращать внимание.

Она вернулась к переводу.

«Вещи из моего детства: голод, отец, который не всегда возвращался домой».

Катя печатала и думала о своём отце. Он ушёл, когда ей было шесть. Утром был, вечером — нет. Она помнила: стояла в коридоре в жёлтых носках и смотрела на вешалку, где обычно висела его куртка. Куртки не было. Крючок был пустой, и в этой пустоте — весь масштаб катастрофы.

Мать не плакала. Мать вообще не плакала — ни тогда, ни потом. Она работала: утром — бухгалтером в управляющей компании, вечером — репетитором по математике. Катя росла с ключом на шее и обедами, завёрнутыми в фольгу. Мать целовала её перед сном — быстро, сухо, губами в лоб — и уходила к себе. И за закрытой дверью не плакала тоже. Или плакала — но так тихо, что Катя не слышала.

Катя научилась одному: справляться и не жаловаться. Делать вид, что всё в порядке, пока всё действительно не станет в порядке — или пока ты не привыкнешь настолько, что разница исчезнет.

Она перевела два абзаца. Потом ещё один. Потом поймала себя на том, что перечитывает одно предложение в четвёртый раз — и не понимает смысла.

Боль вернулась. Чуть правее, и чуть ниже. Не желудок — что-то другое, глубже.

Катя судорожно отодвинула ноутбук.

Она сидела неподвижно минуту, две. Слушала своё тело — как прислушиваешься к шуму в соседней комнате, не понимая, разбилось что-то или просто показалось.

Потом открыла телефон, нашла номер поликлиники и записалась на УЗИ. На послезавтра — раньше не было.

Положила телефон. Вернулась к переводу.

«Самое странное в больнице — это как быстро привыкаешь».

Вечером, после садика, они с Машей зашли в магазин. Маша хотела йогурт — клубничный, определённый, с коровой на упаковке, никакой другой. Катя искала его на полке, присев на корточки, и вдруг живот скрутило так, что она перестала дышать.

Боль — резкая, горячая, как ожог изнутри. Секунда, две, три. Катя вцепилась в край полки, костяшки побелели.

— Мам?

— Сейчас, — голос вышел чужой, тонкий. — Сейчас, Маш, подожди.

Боль ушла. Осталась слабость — мгновенная, ватная, как после долгого бега.

— Мам, ты чего?

— Ничего. Нашла твой йогурт.

Маша смотрела на неё снизу вверх — серьёзно, внимательно, как умеют только дети, когда чувствуют, что взрослый врёт.

— У тебя лицо белое, — сказала Маша.

— Это от света, — Катя выпрямилась, взяла йогурт. — Тут лампы такие. Все белые.

Маша не поверила. Но промолчала — тоже как взрослая, по-своему, принимая правила игры.

Дома Катя покормила Машу, искупала, почитала сказку (Маша выбрала «Груффало» — в сотый раз, и в сотый раз рычала на странице с совой), уложила спать. Маша заснула сразу — горячая, разбросанная по кровати, одна нога свесилась. Катя поправила одеяло, убрала ногу, постояла рядом.

Включила ночник — проектор, который крутил по потолку бледные звёзды. Маша попросила его на Новый год, и Артём объездил три магазина, прежде чем нашёл именно такой, какой нужно — не слишком яркий, не слишком тусклый, «чтобы звёзды были настоящие, пап».

Катя вышла из детской и прикрыла дверь.

Артёма ещё не было.

«Семь вечера – скорее всего на совещании в очередной раз» - подумала она, тяжело вздохнув.

Она прошла в кухню, налила вина — полбокала красного, из бутылки, открытой на прошлой неделе, уже невкусного, подкисшего, но ей было всё равно. Встала у окна.

Двор-колодец был знаком и неузнаваем одновременно. Стены домов — жёлтые, облупленные, с тёмными пятнами сырости. Внизу — детская площадка, ржавые качели, песочница, которую засыпали свежим песком в апреле и уже загадили голуби. Дерево — старый клён, ветки в окна второго этажа. Кто-то на первом этаже готовил — запах жареного лука поднимался вверх, смешивался с вечерним воздухом.

Катя стояла и пила кислое вино и смотрела на двор, и чувствовала боль — тихую, фоновую, как радиопомехи — и думала, что завтра нужно сдать главу перевода, а послезавтра — УЗИ, и что Маша растёт из обуви каждые два месяца, и что она не помнит, когда последний раз обнимала Артёма не потому, что он уходил или приходил, а просто так, посреди комнаты, без причины.

Когда это прекратилось?

Не любовь — она никуда не делась. Любовь была, как мебель: стояла на месте, выполняла функцию. Но из неё ушло что-то, для чего Катя не могла найти слово. Лёгкость? Удивление?

Желание? Она любила Артёма — но не думала о нём в течение дня. Не скучала, когда его не было. Не замирала, услышав ключ в двери.

Может, это нормально. Может, через семь лет все так. Может, любовь и должна стать мебелью — надёжной, привычной, незаметной. А может, она сломалась где-то по дороге, и оба просто не услышали хруста.

Входная дверь открылась. Артём. Шаги в коридоре — тяжёлые, его, усталые.

— Привет, — он заглянул в кухню. Лицо серое, круги под глазами. — Маша спит?

— Угу.

— Как день?

— Нормально. Твой?

— Нормально.

Вот так. Два «нормально» — и между ними пропасть, в которую можно поместить всё: и боль в животе, и совещание до семи, и тоску, которую ни один из них не озвучит.

Артём открыл холодильник, закрыл, потом открыл снова — будто там за секунду могло появиться что-то новое.

— Там суп, — сказала Катя. — Вчерашний.

— Я не голодный.

— Артём.

— Что?

Она хотела сказать: я записалась на УЗИ. У меня болит живот. Не как обычно — по-другому. Мне страшно. Мне уже неделю страшно, только я не говорю, потому что я не умею говорить «мне страшно», потому что меня вырастила женщина, которая не плакала, и я стала такой же, и я ненавижу это, и мне тридцать два года, и я устала, и я люблю тебя, но не помню, когда в последний раз тебе это сказала.

— Ничего, — сказала Катя. — Ешь суп.

Артём достал кастрюлю. Поставил на плиту. Газ щёлкнул, голубое пламя, запах — привычный, домашний.

— Как Маша? — спросил он, не оборачиваясь.

— Хорошо. Платье зелёное — опять.

— Грязное?

— Мятое.

— Она упрямая.

— Интересно, в кого.

Он обернулся. В уголках глаз — морщинки, которых пять лет назад не было. Катя помнила его лицо — то, первое, на вечеринке, когда она увидела его руки. Тогда морщинок не было. Был мальчик. А теперь — мужчина, уставший и тёплый, с тарелкой вчерашнего супа, в их кухне, в их жизни.

— Иди сюда, — сказал он.

— Зачем?

— Просто иди.

Она подошла. Он обнял её — одной рукой, другой мешая суп. Неуклюже, как обнимаются люди, которые делают это слишком редко. Катя уткнулась носом ему в грудь, в запах рубашки, офиса, кофе, его. Закрыла глаза.

Живот ныл.

— Тём.

— М?

— Ничего.

Он поцеловал её в макушку. Она отстранилась, забрала бокал с подоконника, допила. Кислое вино прошло по горлу, оставив терпкий след.

Они разошлись по привычным орбитам: он — есть суп, она — мыть бокал. Рядом, в одной кухне, в одной жизни — и на расстоянии, которое невозможно измерить метрами.

Следующий день прошёл как обычно. Перевод, садик, прогулка, ужин. Боль возвращалась — не часто, но Катя уже ждала её, прислушивалась. Как ждёшь знакомого, которого не хочешь видеть.

Послезавтра стало сегодня.

Кабинет УЗИ в поликлинике на Покровке — маленький, полутёмный, с запахом геля и старых штор. Врач — женщина лет пятидесяти, с короткой стрижкой и усталыми руками — водила датчиком по Катиному животу, и водила молча. Слишком молча.

Катя лежала на кушетке и смотрела в потолок. Потолок был белый, с жёлтым пятном в углу — подтёк. Она считала трещины вокруг пятна.

Одна, две, три.

— Повернитесь на левый бок, пожалуйста.

Четыре, пять.

Датчик двигался медленнее. Врач нажимала — осторожно, но Катя чувствовала, как меняется давление. Там. Именно там, где болело.

— Задержите дыхание.

Катя задержала дыхание, и потолок медленно поплыл у неё перед глазами.

— Дышите.

Врач отложила датчик. Вытерла гель бумажным полотенцем. Катя ждала. Тишина в кабинете была такой плотной, что можно было услышать, как гудят лампы.

— Екатерина Дмитриевна, — голос ровный, профессионально ровный, — мне нужно вас направить на КТ. Компьютерную томографию. Есть образование, которое необходимо обследовать подробнее.

— Образование, — повторила Катя.

— Да. В области поджелудочной железы. Я не хочу делать преждевременных выводов, но лучше не откладывать.

Катя села на кушетке. Гель остывал на коже, холодный, неприятный. Она натянула футболку, не вытерев — потом будет пятно, мелькнуло в голове, зачем-то.

— Когда?

— Чем скорее, тем лучше. Я напишу направление в онкологический центр на Каширском. Там есть хороший КТ-аппарат, и если нужно будет...

Она говорила ещё что-то. Про направление, про документы, про то, что с собой взять. Катя кивала. Слова доходили как через воду — вроде слышишь, но разобрать не можешь.

Образование. В области поджелудочной железы.

Катя знала это слово. «Образование» — медицинский эвфемизм, вежливый, стерильный. Как «усопший» вместо «мертвый». Как «ушёл из жизни» вместо «умер». Она работала с языком каждый день и знала: когда слово заменяют — значит, настоящее слишком страшно.

Она вышла из кабинета. Коридор поликлиники встретил её привычной картиной: линолеум, стенды с информацией о прививках, бабушка на лавке с номерком в руке. Всё было нормальным — обычный мир, обычный день.

Катя дошла до выхода. Толкнула дверь. На улице — май, солнце, черёмуха. Тот же запах — сладкий, горький, невозможный. Женщина с коляской. Мужчина с собакой. Девочка на самокате.

Она стояла на крыльце поликлиники и смотрела на улицу, и всё было как вчера, и позавчера, и год назад, и ничего не изменилось. Ничего.

Только внутри неё — образование в области поджелудочной железы.

Катя достала телефон, открыла контакты, нашла «Артём». Большой палец завис над именем, не решаясь нажать.

Если позвонить — станет настоящим. Пока не сказала вслух — ещё можно сделать вид, что ничего не было. Что УЗИ — плановое. Что образование — киста, ерунда, бывает у всех. Что КТ — перестраховка.

Она убрала телефон в карман.

Пошла к метро. Автоматически — карточка, турникет, эскалатор, перрон. Москва двигалась вокруг неё: люди, шум, голос из динамика — «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция...». Катя стояла в вагоне, держась за поручень, и чувствовала металл под пальцами — холодный, гладкий, настоящий.

Настоящий. Всё остальное — может быть, нет.

Она вышла на «Чистых прудах» и пошла домой — по бульвару, мимо пруда, мимо уток, мимо скамеек с парочками. Черёмуха, опять черёмуха: лепестки на асфальте лежали, как снег, как мелкое белое крошево. Катя наступала на них и думала: через неделю осыплется всё, и будет просто зелень, и никто не вспомнит.

Дома она заварила чай. Заварила и не выпила — стояла с кружкой у окна, смотрела на двор, и чай остывал в руках.

Потом открыла ноутбук. Браузер. Набрала: «образование поджелудочной железы что это». Результаты загрузились за секунду. Катя читала.

Через десять минут закрыла ноутбук. Аккуратно, двумя руками, как закрывают что-то, что не хочешь видеть, но уже увидел.

Чай остыл.

Артём пришёл в восемь. Катя уже забрала Машу, уже искупала, уже уложила. Он заглянул в детскую — Маша спала, звёзды крутились по потолку, зайка зажат под мышкой.

— Как она? — спросил он, вернувшись на кухню.

— Хорошо. В садике рисовала. Нарисовала нас — всех троих. У тебя ноги длиннее, чем туловище.

— Реализм.

— Угу. Я у неё почему-то фиолетовая.

— Ты прекрасна в любом цвете.

Он сказал это на автомате, наливая воду в чайник. Катя стояла у стола и смотрела на его спину — серую футболку, лопатки, знакомую родинку.

Скажи сейчас.

— Тём.

— Да?

Он обернулся. Она видела его лицо — усталое, знакомое, немного раздражённое (тяжёлый день, пробки, начальник, что-то ещё — она не спрашивала, и он не рассказывал, и это тоже стало привычкой). Нормальное лицо. Лицо мужа, который пришёл домой и хочет чаю.

Если сказать — оно изменится. Навсегда.

— Я сегодня была на УЗИ.

Артём замер. Рука на чайнике. Она видела, как изменилось его тело — не лицо, а именно тело: плечи чуть поднялись, пальцы сжались, позвоночник выпрямился. Так реагируют на удар — ещё до того, как поняли, что бьют.

— И?

— Нашли... образование. В поджелудочной. Отправляют на КТ. В онкоцентр.

Тишина.

Тишина была длиной в три секунды, но Катя прожила в ней целую жизнь. Она видела, как Артём обрабатывает слова — одно за другим, как программа, загружающая тяжёлый файл: образование, поджелудочная, онкоцентр.

— Когда? — голос ровный. Слишком ровный.

— На следующей неделе. Во вторник. Направление уже есть.

— Во вторник, — он повторил, будто слово нужно было потрогать. — Хорошо. Я поеду с тобой.

— Не надо. Это просто КТ, лежишь в трубе двадцать минут.

— Я поеду с тобой.

Не просьба, не предложение. Он сказал это тем голосом, который Катя слышала три раза за семь лет: когда родилась Маша и у Кати было кровотечение; когда его мать попала в больницу с сердцем; и когда они чуть не разбились на трассе, и Артём выровнял машину за секунду до отбойника, а потом сидел на обочине, белый, и повторял: «Всё нормально. Всё нормально. Всё нормально».

Голос человека, который берёт контроль, потому что, если не возьмёт — развалится.

— Ладно, — сказала Катя.

— Это может быть что угодно, — Артём. Быстро, как человек, который убеждает не другого, а себя. — Кисты бывают. Доброкачественные. У Димки на работе — нашли что-то в почке, вырезали, всё чисто. Бывает.

— Бывает.

— Мы сделаем КТ. Потом — биопсию, если нужно. Разберёмся.

— Да.

Он подошёл к ней и обнял — не как вчера, одной рукой, между делом, а двумя руками, крепко, так что она чувствовала его рёбра, его дыхание и стук сердца. Быстрый, слишком быстрый.

— Мы разберёмся, — сказал он ей в макушку.

Катя стояла в его руках, и боль в животе ныла тихо, привычно, почти дружелюбно — как будто говорила: привет, я никуда не денусь, привыкай.

И в голове — одна мысль, чёткая, как титры на экране:

Маша нарисовала нас троих. Фиолетовую маму, папу с длинными ногами и себя — в зелёном платье, с палочкой в руке.

Нас троих.

Пусть так и будет, пожалуйста, пусть так и будет.

Был вторник, и они ехали по Каширскому шоссе.

Онкологический центр выглядел как место, притворяющееся обычным. Стеклянные двери, стойка регистрации, кадки с фикусами. Мягкие кресла в холле — не больничные, а как в бизнес-центре. Кто-то очень старался, чтобы это не выглядело как то, чем является. И именно от этих усилий — кресел, фикусов, мягкого освещения — становилось страшнее.

Катя сидела в очереди и заполняла анкету. Имя, дата рождения, адрес. Аллергии — нет. Хронические заболевания — нет. Операции — кесарево сечение. Вредные привычки — нет (незажжённая сигарета не считается, решила она).

Артём сидел рядом, нога на ногу, правая дёргалась — мелко, нервно. Он смотрел в телефон, но экран не менялся. Катя видела: он открыл гугл и ничего не набрал. Просто смотрел на поисковую строку.

— Перестань дёргать ногой.

— Я не дёргаю.

Катя положила руку ему на колено. Нога остановилась.

— Мiroва? — медсестра в дверях. Молодая, с косой через плечо. — Екатерина Дмитриевна?

— Да.

— Пройдёмте.

Катя встала. Артём встал тоже. Медсестра посмотрела на него:

— Вы с ней?

— Муж.

— Подождите здесь, пожалуйста. Это недолго.

Артём открыл рот — и закрыл. Катя коснулась его руки. Мимо, легко, почти случайно.

— Я скоро.

Коридор, двери, кабинет КТ. Аппарат — большой белый бублик, гудящий, как холодильник. Кушетка въезжает внутрь. Катю уложили, велели не дышать, и она замерла, глядя в белый потолок машины.

— Не двигайтесь. Задержите дыхание.

Гул мерно старался её убаюкать, упорно но мягко проникая в уши. Белое кольцо вращалось вокруг неё, и Катя лежала внутри машины, которая видела её насквозь — кости, органы, кровь, — и думала: вот так. Вот так узнаёшь правду о себе. Не от людей, не из книг. От машины, которая смотрит туда, куда ты сама посмотреть не можешь. Двадцать минут. Или сто лет — она не могла отличить.

— Готово. Результаты будут через два дня. Вам позвонят.

Катя оделась. Вышла в коридор. Артём стоял у стены — не сидел, стоял, прислонившись спиной, руки скрещены на груди. Поза человека, который ждёт приговора и делает вид, что просто ждёт автобус.

— Ну? — спросил он.

— Через два дня.

Они вышли на улицу. Парковка, машины, воробы в луже у бордюра. Солнце. Опять солнце — наглое, весёлое, майское. Катя прищурилась.

— Мороженое хочешь? — спросила она.

— Что?

— Мороженое. Там киоск.

Артём смотрел на неё так, будто она заговорила на неизвестном языке.

— Катя...

— Я хочу мороженое. Пломбир. В вафельном стаканчике.

Он молчал три секунды, но потом пошёл к киоску.

Они ели мороженое на парковке онкоцентра, прислонившись к машине. Пломбир таял и тек по пальцам. Катя слизывала его и смотрела на небо — высокое, без облаков, синее до звона.

— Вкусное, — сказала она.

— Обычное.

— Нет. Вкусное.

Артём доел мороженое, вытер руки салфеткой. Потом — другой салфеткой вытер руки Кате. Молча, сосредоточенно, каждый палец — как будто это было самое важное дело в мире.

Катя смотрела на его лицо — сверху, потому что он наклонился к её рукам — и видела: седина. Виски. Морщины у глаз. Складка между бровей, которую она раньше не замечала. Когда она появилась? В этом году? В прошлом?

Она подумала: я не разглядывала его лицо очень давно.

— Тём.

— Что?

— Спасибо.

— За что?

— За мороженое.

Он выпрямился. Посмотрел на неё. В его глазах — что-то разбитое, что он очень старался удержать на месте.

— Пожалуйста, — сказал он. — Поехали за Машей.

Прошло два дня, наступил четверг.

Катя была дома одна. Маша в садике, Артём на работе — она настояла, чтобы он пошёл. «Нельзя сидеть и ждать звонка вдвоём, мы сойдём с ума. Иди работай. Мне позвонят — я перезвоню тебе. Сразу».

Он ушёл. Неохотно, оглядываясь в дверях — как ребёнок, которого ведут в первый день в школу.

Катя работала, вернее — сидела за столом и смотрела в экран. Текст Страут расплывался, буквы превращались в узоры. Она перевела одно предложение за час. Одно.

«Мать пришла и села рядом, и мы молчали, и это молчание было единственным разговором, который мы умели вести».

Телефон зазвонил в четырнадцать тридцать семь. Катя запомнила время — четырнадцать тридцать семь — потому что смотрела на часы в углу экрана, когда экран телефона рядом осветился, и там было: «Номер не определён».

Она знала. Ещё до того, как взяла трубку. Ещё до того, как услышала голос — незнакомый, мужской, спокойный.

— Екатерина Дмитриевна?

— Да.

— Это онкологический центр, доктор Марков. Результаты вашей КТ готовы.

Пауза.

— Екатерина Дмитриевна, вам нужно приехать. Желательно сегодня. И желательно — не одной.

Катя сидела за столом. Перед ней стоял ноутбук и чашка чая (опять остывшего), а на столе от окна лежало солнечное пятно. За стеной были соседи, музыка, что-то джазовое, приглушённое. Обычный мир, обычный день.

— Во сколько? — спросила она, и голос не дрогнул. Она была дочерью женщины, которая не плакала.

— В четыре вас устроит?

— Да. В четыре.

Она положила трубку. Посмотрела на экран. Четырнадцать тридцать восемь.

Одна минута, один звонок — и всё станет по-другому.

Она набрала Артёма. Он взял после первого гудка — значит, держал телефон в руке. Значит, ждал. Всё это время — ждал.

— Кать?

— Приезжай. Нужно ехать на Каширку.

Тишина.

— Когда?

— К четырём.

— Еду.

Он не спросил «что сказали». Не спросил «это плохо». Он услышал её голос — и всё понял. Потому что семь лет — это не только привычка и мебель и два «нормально» на кухне. Семь лет — это когда ты знаешь чужой голос лучше, чем свой, и слышишь в нём каждую трещину.

Катя положила телефон. Встала. Прошла в ванную. Открыла воду. Смотрела, как течёт — прозрачная, бесконечная, равнодушная.

Потом сползла по стене на кафельный пол и сидела там, прижав колени к груди, и слушала воду, и не плакала.

Ещё нет. Пока ещё нет.

За стеной играл джаз. На кухне остывал чай. В садике Маша рисовала — наверное, опять их троих, фиолетовую маму, длинноногого папу и себя в зелёном платье.

А за окном цвела черёмуха — белая, горькая, невозможно красивая.

И Кате казалось, что она чувствует её запах даже здесь, на полу ванной, сквозь закрытые окна, сквозь стены. Сладкий и горький одновременно, как всё, что скоро закончится.

Глава 2

Глава вторая. Каширка

Доктор Марков оказался не таким, каким Катя его представляла по голосу.

По телефону он звучал старше — она ждала грузного человека с тяжёлыми веками, из тех врачей, что говорят медленно и смотрят поверх очков. А за столом сидел сухой, поджарый мужчина лет шестидесяти, с короткой седой щетиной на щеках, в халате, застёгнутом не на все пуговицы. Перед ним на столе — её снимки, выведенные на монитор, и тонкая папка. Тоньше, чем Катя ожидала. Странно: то, что должно перевернуть жизнь, помещается в папку толщиной в палец.

— Садитесь, — сказал он ей участливым тоном.

И Артёму: — Вы тоже.

Они сели. Два стула напротив стола, прижатые друг к другу слишком близко, так что Катино колено касалось Артёмова. Она чувствовала, как он напряжён — всем телом, как струна на колке, которую ещё чуть-чуть, и сорвёт.

Марков посмотрел на монитор. Потом — на неё.

— Екатерина Дмитриевна, я не буду ходить вокруг да около. Вы взрослый человек, и я вижу, что предпочитаете правду.

Сглотнув тягучий комок в горле, который вдруг стал мешать говорить, Катя робко кивнула.

— Хорошо.

Он развернул монитор. На чёрно-белом срезе — её внутренности, разрезанные светом, как буханка хлеба ножом. Катя не знала, на что смотреть. Всё было серым, размытым, чужим.

— Вот, — Марков ткнул в светлое пятно концом ручки. — Это образование в головке поджелудочной железы. Размер — около четырёх сантиметров. А вот здесь, — ручка переместилась, — и здесь — изменения в печени. Множественные.

Слово «множественные» он произнёс ровно, без нажима. Но Катя услышала его так, будто оно прозвучало громче остальных.

— Что это значит? — спросил Артём сразу осевшим голосом.

Марков посмотрел на него — внимательно, прицельно, тем взглядом, которым опытные люди измеряют, сколько правды человек способен вынести за один раз.

— Это значит, что мы имеем дело со злокачественным процессом. Рак поджелудочной железы. И, судя по картине, с метастазами в печень.

Тишина.

Катя слышала всё: как гудит компьютер, как за дверью кто-то катит каталку — колёсико поскрипывает, одно из четырёх. Как Артём перестал дышать. Она смотрела на светлое пятно на экране и думала: вот оно. Вот то, что меня убьёт. Размером с грецкий орех. Серое. На картинке — совершенно безобидное.

— Стадия, — произнесла она. Не вопрос — констатация. Она читала. Десять дней назад, на полу ванной, она уже всё прочитала.

Марков чуть склонил голову.

— Четвёртая. Раз есть отдалённые метастазы — четвёртая.

— Четвёртая из скольки?

— Из четырёх.

Артём дёрнулся. Будто слова физически толкнули его.

— Подождите. Подождите. — Он наклонился вперёд, упёрся локтями в колени. — Это же... должна быть ошибка. Снимок может быть неточным. Бывают ложные...

— Артём, — тихо сказала Катя.

— Нет, послушай. — Он не смотрел на неё. Он смотрел на Маркова — в упор, требовательно, как будто можно надавить взглядом и заставить врача признать, что он ошибся. — Бывают же случаи. Кисты, воспаления, которые выглядят похоже. Нужна биопсия. Без биопсии нельзя ставить такой...

— Биопсию мы сделаем, — спокойно сказал Марков. — Обязательно. Для подтверждения и для определения типа опухоли — это важно для выбора лечения. Но я работаю с этим тридцать лет. — Он сделал паузу. — Я очень хотел бы ошибиться. Но я редко ошибаюсь в таких картинах.

Артём откинулся на спинку стула. Провёл ладонью по лицу — сверху вниз, медленно, как будто стирал что-то. Катя видела его руку — она дрожала. Чуть-чуть. На самых кончиках пальцев.

— Сколько, — сказала она.

— Что?

— Сколько у меня времени. Вы же знаете цифры. Все знают цифры. Скажите.

Марков посмотрел на неё долго. В его глазах не было жалости — и это Катя оценила. Была усталость. Была какая-то старая, ввевшаяся печаль человека, который говорил эти слова сотни раз и так и не научился говорить их легко.

— Не надо, — вмешался Артём. — Не отвечайте. Цифры — это статистика. Статистика — это не человек. Каждый случай...

— Тём. — Катя положила руку ему на колено. Не для того, чтобы успокоить. Чтобы он замолчал. — Я хочу знать.

— А я не хочу!

Он сказал это громко. Слишком громко для маленького кабинета. Слово ударилось о стены и вернулось. Артём сам испугался своего голоса — оглянулся на дверь, понизил тон, но в нём всё равно дрожала ярость:

— Я не хочу знать никаких цифр. Потому что цифры — это приговор. А я не верю в приговоры. Люди живут. Люди вылечиваются. В Германии, в Израиле — там делают то, чего здесь даже не пробуют. Я читал. Я всё прочитал за эти три дня — иммунотерапия, таргетная терапия, есть протоколы...

— Артём Сергеевич, — мягко перебил Марков.

— Что?

— Я не отнимаю у вас надежду. Надежда — это правильно, она нужна, она иногда работает лучше препаратов. — Он сложил руки на столе. — Но я обязан сказать вам обоим правду, чтобы вы могли принимать решения, понимая, где находитесь. Иначе вы будете принимать их вслепую. А вслепую — всегда хуже.

Он повернулся к Кате.

— Медиана выживаемости при таком диагнозе — от полугода до полутора лет. У кого-то меньше. У кого-то — больше. Бывает по-разному, и я не Бог, я не знаю, как будет у вас. Но честно: дольше двух лет — очень редко.

Полгода. От силы полтора года.

Катя услышала цифры и удивилась, что ничего не почувствовала. Как будто ей сказали прогноз погоды на чужой город. Где-то там, далеко, будет дождь. Какое-то время. Потом перестанет.

Она смотрела на светлое пятно на экране и считала: Маше три. Через полтора года будет четыре с половиной. Через два — пять. В пять лет — что человек помнит из пяти лет? Что Катя помнит? Жёлтые носки. Пустой крючок в коридоре. Запах материнской шеи, когда та наклонялась поцеловать перед сном.

Лица отца она не помнила совсем. Совсем. Только пустоту там, где должно быть лицо.

Маша не будет меня помнить.

Вот оно. Вот первое, что по-настоящему дошло. Не «я умру» — это было слишком большим, слишком абстрактным, тело отказывалось вмещать. А вот это, маленькое, конкретное, острое: моя дочь забудет, как я выгляжу. Забудет мой голос. Через пять лет, через десять она будет смотреть на фотографию и видеть незнакомую женщину, про которую ей говорят «это твоя мама».

Что-то опять поднялось в горле — горячее, тугое. Катя сглотнула и загнала это обратно. Не здесь и не сейчас — и уж точно не перед чужим человеком в халате, застёгнутом не на все пуговицы.

— Что дальше? — спросила она. Голос вышел ровный. Она была дочерью женщины, которая не плакала.

— Дальше — биопсия. Завтра-послезавтра организуем. По результатам — консилиум, выберем схему химиотерапии. — Марков говорил теперь по-деловому, и Кате стало легче. Дела — это понятно. Дела можно делать. — Цель химии в вашем случае — не вылечить. Я не буду вам врать. Цель — сдержать рост, выиграть время, по возможности — улучшить качество этого времени. Снять боль. Дать вам прожить отпущенное по-человечески.

— Сдержатъ, — повторил Артём с горечью. — Выиграть время. Это всё, что вы предлагаете?

— Артём. — Катя сжала его колено сильнее.

— Нет, я серьёзно спрашиваю. — Он встал. Стул скрипнул по линолеуму. Артём отошёл к окну, потом вернулся — не мог стоять на месте, тело требовало движения, действия, хоть чего-нибудь. — Есть же клиники, где не сдерживают, а лечат. Где борются. Я найду деньги. Я квартиру продам, если надо. Я...

— Тём, замолчи!

Это вышло резче, чем она хотела. Артём замолчал. Посмотрел на неё — и в его глазах было столько боли, столько детского, беспомощного непонимания, что Катя на секунду пожалела, что одёрнула его.

Он не умеет иначе, подумала она. Он всю жизнь решал проблемы. Чинил то, что сломалось. А это нельзя починить — и он не знает, что с собой делать.

— Извини, — сказала она тише. — Сядь. Пожалуйста.

Он послушно сел, тяжело, обреченно.

Марков смотрел на них обоих — на эту молодую пару, на мужчину, который рвался в бой с тем, с кем нельзя воевать, на женщину, которая держалась так прямо, что было больно смотреть. Он видел это сотни раз. Один всегда воюет. Другой всегда уже знает. — Я дам вам направление на биопсию, — сказал он, придвигая бланк. — И телефон. Звоните в любое время, если что-то будет неясно. По поводу зарубежных клиник, — он поднял глаза на Артёма, — я не отговариваю. Если найдёте протокол, который имеет смысл, — везите туда документы, пусть смотрят. Но я бы советовал не терять время на чудеса. Время сейчас — самое дорогое, что у вас есть. Не тратьте его на аэропорты и переводы документов, если можно потратить на... — он чуть запнулся, — на то, что важнее.

Катя поняла, что он хотел сказать. На жизнь, на дочь, друг на друга — на всё, что теперь придётся делить на «до» и «после».

Она кивнула.

Артём не кивнул. Он смотрел в пол.

Они вышли в коридор. Тот же коридор, по которому шли час назад, — и совершенно другой. Те же стены, те же кадки с фикусами, та же стойка регистрации. Но теперь это было место, где Кате сказали, сколько ей осталось. И от этого даже фикусы выглядели иначе.

Молодая женщина с коляской ждала у лифта. Из коляски торчала маленькая ручка, сжимающая погремушку. Катя посмотрела — и отвела глаза.

В лифте они молчали. Артём смотрел на табло с цифрами этажей. Катя смотрела на своё отражение в зеркальной двери — бледная женщина в зелёной кофте, каштановые волосы до плеч, родинка над верхней губой. Совершенно обычная. По ней не видно. По ней совсем ничего не видно.

Через сколько эти волосы выпадут?

Двери открылись, и холл встретил их таким же, как и фикусы, — совершенно другим, чужим. Стеклопакеты, а за ними — улица, живая и равнодушная.

И — солнце.

Май обрушился на них всей своей наглой, цветущей силой. Тепло, свет, зелень газонов, кто-то смеялся у входа в магазин через дорогу, парень в наушниках пронёсся на самокате, женщина в открытом платье ела мороженое — белое, в вафельном рожке, оно таяло, и она слизывала капли с пальцев и смеялась чему-то в телефоне.

Мир не изменился. Не изменился вокруг них, но что то неуловимое поменяло восприятие всего окружающего.

Катя стояла на ступенях онкоцентра и смотрела на этот живой, дышащий, абсолютно равнодушный мир — и впервые за весь день почувствовала что-то острое. Не страх, а обиду. Детскую, несправедливую обиду: как вы можете? Как вы можете есть мороженое, и смеяться, и кататься на самокатах, когда мне только что сказали, что я умру? Остановитесь. Хоть на секунду. Хоть кто-нибудь.

Никто не остановился.

И в этом, поняла Катя, и есть весь ужас. Мир не остановится. Он будет вот таким — солнечным, цветущим, жующим мороженое — и когда её не будет тоже. Маша вырастет под этим солнцем. Будет смеяться, кататься на самокате, есть мороженое. И это правильно. И это невыносимо.

— Поехали, — сказал Артём.

Голос у него был чужой. Деревянный.

Они дошли до машины. Артём открыл ей дверь — он никогда не открывал ей дверь, последний раз, наверное, когда они только встречались, — и от этого жеста, нелепого, запоздалого, у Кати защемило в глазах. Она быстро села. Отвернулась к окну.

Артём обошёл машину, сел за руль. Вставил ключ, который на этот раз как-то слишком громко «хрустнул» входя. Но Артём его не повернул, словно чего то боясь.

Они сидели в машине на парковке онкоцентра. Двигатель молчал. Через лобовое стекло — тот же двор, те же воробьи в той же луже у бордюра. Всё как два дня назад, когда они ели мороженое и Катя говорила «вкусное», а Артём говорил «обычное».

— Мы будем бороться, — сказал Артём.

Он смотрел прямо перед собой, на лобовое стекло, на воробьёв.

— Слышишь? Мы будем бороться. Я найду лучших. Я узнаю про эти протоколы. У Лёхного брата связи в Мюнхене, я позвоню сегодня же. Я не дам... — голос дрогнул, он сжал руль так, что побелели костяшки, — я не дам этому случиться. Ты меня поняла? Не дам.

Катя смотрела в окно.

Мы будем бороться.

Она прокатывала это «мы» на языке, как горький камешек.

Кто — мы?

Бороться будешь ты, Артём. Ты будешь звонить в Мюнхен, читать форумы, собирать деньги, продавать квартиру, искать чудо. Ты будешь бороться так яростно, что у тебя не останется сил на то, чтобы просто быть рядом. А бороться буду я. Одна. В трубе томографа, под капельницей, ночами, когда тошнота, когда боль, когда страх. Это моё тело. Это моя смерть. И в ней нет никакого «мы».

Она хотела сказать это. Открыла рот.

Потом посмотрела на его руки на руле — побелевшие костяшки, длинные пальцы, руки, в которые она когда-то влюбилась раньше, чем в лицо, — и поняла, что не может. Что если она скажет это сейчас, она отнимет у него единственное, что у него осталось. Право бороться. Иллюзию, что он что-то может.

Пусть борется. Это его способ не сойти с ума.

— Хорошо, — сказала она. — Будем бороться.

Артём повернулся к ней. На секунду — всего на секунду — его лицо сломалось. Маска треснула, и под ней оказался мальчик, испуганный мальчик, который не понимает, почему мир так несправедлив, и который сейчас, прямо сейчас, заплачет.

Он не заплакал. Он выровнял лицо — Катя видела, как он это делает, как берёт себя, собирает по частям, — и кивнул, и завёл машину.

— Заберём Машу пораньше, — сказал он. — Сводим её куда-нибудь. В парк. Или в этот... где утки.

— Давай, — сказала Катя.

Они ехали мимо цветущих дворов, мимо людей с мороженым, по городу, который не знал и не хотел знать, что в маленькой серой машине едут двое, которым только что разделили жизнь на «до» и «после».

Они забрали Машу из садика в половине пятого — раньше обычного. Тамара Сергеевна удивилась («Так рано? Случилось что?»), и Катя улыбнулась и сказала: «Нет-нет, просто погода хорошая, грех сидеть в четырёх стенах». И улыбка вышла такой обычной, такой убедительной, что Катя сама удивилась. Вот, значит, как это работает. Внутри — выжженное поле, а снаружи — мама в хорошем настроении, забравшая дочку погулять.

Маша выскочила к ним в своём мятом зелёном платье, с размазанной по щеке краской и невероятно важным сообщением:

— Мам! Пап! У Сёмы хомяк умер!

Катя споткнулась на ровном месте.

— Что? — переспросил Артём.

— Хомяк! У Сёмы! Его звали Персик, и он умер, и Сёма плакал, и Тамара Сергеевна сказала, что Персик теперь на небе, и я спросила, как он туда залез, хомяки же не летают, а она сказала, что душа летает, а тело остаётся, и мы Персика похоронили под кустом, ну не мы, а воспитатели, и положили камешек, я выбирала камешек!

Она выпалила это на одном дыхании, размахивая руками, и в её голосе не было ни капли горя — только восторженный интерес к новому, удивительному явлению. Всё смешалось в одну весёлую кучу: смерть, хомяк, небо и камешек.

Катя присела перед дочерью. Поправила лямку платья. Посмотрела в её зелёные глаза — свои глаза, точная копия, с теми же коричневыми крапинками.

— А тебе грустно, что Персик умер? — спросила она.

Маша задумалась. По-настоящему — нахмурила брови, та самая складка, и Катя смотрела на эту складку и думала: запомни. Запомни, как она хмурится.

— Немножко, — сказала Маша честно. — Но я его мало знала. Это Сёмин хомяк, не мой. Сёме грустнее.

— А Сёме ты как помогла?

— Я ему дала свою печенку. С шоколадкой. Которую ты дала на полдник. — Маша посмотрела чуть виновато. — Можно было?

— Можно, — сказала Катя. И обняла её. Резко, крепко, утопив лицо в детских волосах, пахнувших тропическим шампунем и садиком, красками, супом, чем-то ещё, неуловимо Машиным.

Ты дала ему свою печенку. Ты, в три года, отдала своё, чтобы кому-то было не так больно. Откуда ты такая? Кто тебя такой сделал? Я? Я успела это сделать?

— Мам, ты меня душишь.

— Извини. — Катя отпустила её. Вытерла глаза быстро, незаметно — будто волосы поправляла. — Пошли уток кормить.

— УТОК! — заорала Маша так, что вздрогнули родители у соседней группы. — Пап, мы уток кормить! У нас хлеб есть?

— Купим, — сказал Артём.

И его голос, когда он говорил с дочерью, был совсем другой — мягче, светлее, будто внутри него был отдельный отсек, отдельная комната, где жил только этот голос, — и в эту комнату не пускали ни диагнозы, ни Маркова, ни цифры. Туда пускали только Машу.

Катя смотрела, как он берёт дочь за руку, как Маша подпрыгивает рядом, рассказывая теперь уже про то, что уток нельзя кормить хлебом, им вредно, это сказала Соня, а Соня знает, потому что её папа работает в зоопарке, — и думала: вот оно. Вот то, что я не отдам. Вот ради чего стоило всё.

Они дошли до пруда. Купили батон у бабушки на углу. Маша кидала утятам мелкие кусочки и визжала от восторга, когда самый наглый селезень вылезал на берег и хватал хлеб прямо из её пальцев. Артём стоял рядом, готовый перехватить, если что. Солнце садилось за крыши, золотило воду, и в этом золотом, медовом свете всё казалось почти нормальным.

Почти.

Катя сидела на скамейке чуть в стороне, смотрела на них — на мужа и дочь у кромки воды, тёмный высокий силуэт и маленький зелёный, — и пыталась запомнить. Всё сразу: свет, запах воды и тины, то, как Маша смеётся, запрокидывая голову, как Артём наклоняется к ней и что-то говорит, а Маша кивает с серьёзным видом. Запах черёмухи всё ещё висел в воздухе, слабый, но живой.

Запомни это, сказала она себе. Складывай. Складывай каждую секунду в коробку, которую возьмёшь с собой.

Хотя — куда я её возьму?

И вот тут, на этой мысли, её наконец прорвало.

Тихо, без единого звука. Она просто сидела на скамейке, смотрела на дочь, кормящую уток, и слёзы текли по лицу — сами, без всхлипов, без судорог, просто текли и текли, и Катя их не вытирала, потому что Маша не смотрела, а Артём стоял спиной, и можно было — впервые за весь этот невыносимый день можно было просто плакать.

— Мам! — Маша обернулась. — Смотри, какой жадный!

Катя моргнула. Слёзы скатились, и она быстро вытерла лицо ладонью.

— Вижу, зай! Какой нахал!

— Нахал! — счастливо повторила Маша новое слово. — Утка-нахал!

И снова отвернулась к воде.

Артём не обернулся. Но Катя заметила — позже, дома, прокручивая этот вечер, — что плечи его на секунду напряглись. Что он, может быть, услышал. Может быть, понял. И не обернулся именно поэтому — чтобы дать ей доплакать. Чтобы не отнимать единственное, что ей сейчас принадлежало.

А может, ей это показалось.

Может, он просто смотрел на уток.

Вечером, когда Маша уснула — наконец, после ванны, после «Груффало», после трёх стаканов воды и двух походов «в последний раз пописать», — Катя и Артём остались на кухне.

Он не ел. Сидел за столом, крутил в руках телефон. Катя налила чай — два стакана, привычным движением, — и поставила перед ним.

— Я звонил Лёхе, — сказал Артём, не глядя на неё. — Пока ты Машу укладывала. Он скинул контакт брата в Мюнхене. Завтра созвонимся.

— Хорошо.

— И ещё нашёл один центр в Хайдельберге. Они занимаются именно поджелудочной. Там какие-то новые протоколы. Я написал им, отправил снимки. — Он наконец поднял глаза. — Они ответят, Катя. Я уверен, они ответят и скажут, что не всё так... что есть варианты.

Катя смотрела на него. На его лицо — осунувшееся, серое, с лихорадочным блеском в глазах. На руки, которые опять дрожали — мелко, на самых кончиках, — и он прятал эту дрожь, обхватив стакан.

— Хорошо, — сказала она. — Пиши им. Звони. Делай.

— Ты так говоришь, как будто не веришь.

— Я не сказала, что не верю.

— Но ты так думаешь. — Он отставил стакан. — Я вижу. Ты уже всё для себя решила. Ты сидела там, у Маркова, и кивала, как будто это... как будто это уже факт. Как будто всё.

Катя молчала.

— Скажи что-нибудь.

— А что ты хочешь, чтобы я сказала?

— Что ты будешь бороться. Что ты не сдашься. — Голос его пополз вверх, задрожал. — Что ты хочешь жить, чёрт возьми. Что тебе не всё равно.

Что-то внутри Кати дёрнулось. Резко, больно.

— Не всё равно?

Она сказала это тихо. Опасно тихо.

— Артём. Мне сегодня сказали, сколько я проживу. Мне. Не тебе. Это моё тело сгниёт изнутри, понимаешь? Это я буду плевать после химии, это у меня выпадут волосы, это меня будет видеть Маша — лысой, жёлтой, умирающей. Меня! А ты говоришь — мне всё равно?

— Я не это имел в виду...

— Именно это. — Она встала. Стул скрипнул. — Ты хочешь, чтобы я кричала. Билась в истерику. Звонила в Мюнхен и плакала в трубку. Чтобы тебе было понятно, что я тоже борюсь. А я не умею так, Тём. Я не ты. Я не умею кричать. Меня вырастила женщина, которая ни разу при мне не заплакала. Ни разу! Когда отец ушёл — не заплакала. Когда я в больницу с аппендицитом попала — не заплакала. Я не умею. И не надо требовать от меня того, чего я не умею.

Артём смотрел на неё снизу вверх. И в его лице медленно проступало что-то — не злость. Стыд.

— Прости, — сказал он. — Прости. Я не то говорю. Я не знаю, что говорить, Катя. Я не умею. Я весь день... я весь день держусь, чтобы не развалиться, и я не знаю, как тебе помочь, и от этого я говорю всякую дрянь.

Катя стояла. Гнев утихал — так же быстро, как вспыхнул. Осталась только огромная, всепоглощающая усталость.

Она обошла стол. Встала за его спиной. Положила руки ему на плечи — напряжённые, каменные плечи. И прижалась щекой к его макушке, к тёмным волосам с седыми нитями на висках.

— Я знаю, — сказала она тихо. — Я знаю, что ты не умеешь. Я тоже не умею. Никто этому не учит. Нет такого предмета в школе — «что делать, когда жена умирает».

Артём накрыл её руку своей, сжал и промолчал — но в этом молчании было больше, чем в любых словах.

— Послушай меня, — сказала Катя. — Звони в Мюнхен. В Хайдельберг. Куда хочешь. Если есть хоть один шанс — давай попробуем. Я не сдаюсь, слышишь? Я хочу жить. Очень хочу. Больше, чем когда-либо хотела. — Голос дрогнул. — Только... только давай договоримся об одном.

— О чём?

— Что мы не будем тратить всё время на войну. Вот всё, что осталось. Сколько бы ни было — полгода, год, два. Я не хочу прожить это в самолётах, в очередях, в чужих клиниках, под капельницами. Я хочу... — она запнулась. — Я хочу видеть Машу. Каждый день. Я хочу гулять с ней, и читать ей, и кормить уток. Я хочу запомнить её. И чтобы она запомнила меня. Понимаешь? Это важнее, чем лишний месяц в больнице.

Артём молчал долго.

— Не говори так, — сказал он наконец. Глухо. — Не говори, как будто... как будто ты прощаешься.

— Я не прощаюсь. Я живу. Просто теперь я знаю, что это не бесконечно. И от этого — каждый день дороже. Раньше я не замечала. Дни сыпались, как песок, я даже не оборачивалась. А теперь...

Она замолчала.

За окном темнел двор-колодец. Где-то наверху включили свет — жёлтый прямоугольник лёг на стену напротив. Внизу, на детской площадке, кто-то выгуливал собаку — слышно было, как звякает поводок.

— Я весь день, — медленно сказала Катя, — смотрел на Машу и думал: я не помню её в год. Помнишь, какая она была в год? Толстенькая, с двумя зубами, ходила, держась за стенку. А я не помню. То есть — на видео помню, на фотографиях. А вот так, чтобы по-настоящему, чтобы запах, чтобы как она смеялась, — не помню. И мне стало так страшно, Тём. Я столько всего пропустила. Думала — успею. Всегда думала — успею.

Она почувствовала, как плечи Артёма дрогнули под её руками.

И тогда он сделал то, чего она не ожидала.

Он повернулся на стуле — резко, всем телом, — и обнял её. Уткнулся лицом ей в живот, туда, где сидело это серое пятно, эта смерть размером с грецкий орех, обхватил руками, прижался, как ребёнок, как утопающий. И Катя стояла, глядя его по волосам, по седым вискам, по напряжённой шее, и чувствовала, как сквозь ткань кофты проступает влага.

Он плакал.

Беззвучно, как и она на скамейке. Без всхлипов, без судорог. Просто плечи ходили ходунком, и было мокро, и он держал её так крепко, будто мог удержать.

Катя не сказала ничего. Не «всё будет хорошо» — потому что не будет. Не «не плачь» — потому что надо. Она просто стояла и держала его голову, и смотрела поверх него в тёмное окно, на жёлтый прямоугольник чужого света на стене, и думала, что вот это, наверное, и есть любовь. Не бабочки, не свечи, не «ты прекрасна в любом цвете». А вот это — двое людей на кухне, в одиннадцать вечера, держащиеся друг за друга над пропастью.

Семь лет они засыпали спина к спине. Семь лет говорили «нормально» вместо настоящего. Семь лет любовь была мебелью — надёжной, привычной, незаметной.

И вот понадобилось, чтобы Кате сказали, что она умрёт, — чтобы они снова обняли друг друга по-настоящему.

Какая злая шутка, подумала Катя. Какая злая, несправедливая шутка.

— Тём, — сказала она. — Пойдём спать.

Он поднял голову. Лицо красное, мокрое, опухшее — лицо человека, который плакал впервые за много лет, и не умел, и стеснялся этого. Он вытер его рукавом — резко, по-детски.

— Извини, — пробормотал он. — Это я должен... это я должен тебя поддерживать. А не наоборот.

— Не должен. — Катя взяла его лицо в ладони. Колючая щетина, мокрые щёки. — Никто никому ничего не должен. Мы просто держим друг друга. По очереди. Сегодня я тебя. Завтра — ты меня. Идёт?

Он кивнул.

— Идёт.

Ночью Катя не спала.

Артём заснул — провалился, как в яму, измученный, опустошённый, дыша глубоко и ровно. А Катя лежала на боку, лицом к нему, и смотрела в темноте на его профиль — нос, подбородок, седеющий висок, — и слушала, как тикают часы в коридоре, и как где-то этажом выше шумит вода в трубах, и как за окном, изредка, проезжает машина, и свет фар скользит по потолку.

Живот ныл — тихо, привычно. Только теперь у боли было имя. Теперь Катя знала, кто живёт у неё под рёбрами и чего хочет.

Она тихо встала. Артём не пошевелился. Прошла босиком по скрипучему паркету — мимо третьей половицы, которая скрипела громче всех, она знала, где наступать, — заглянула в детскую.

Маша спала, раскинувшись на полкровати, одна нога свесилась, зайка валялся на полу. По потолку медленно ползли бледные звёзды — ночник-проектор крутился тихо, едва слышно жужжа. Катя постояла в дверях, потом вошла, подняла зайку, положила рядом с дочерью. Поправила одеяло и убрала ногу.

Маша вздохнула во сне, причмокнула и перевернулась на другой бок.

Катя присела на корточки у кровати. Смотрела на спящее лицо дочери в бледном звёздном свете — на закрытые веки с длинными ресницами, на приоткрытый рот, на круглую щёку, примятую подушкой. На складку между бровей — даже во сне.

Сколько раз я ещё это увижу, подумала она. Сколько раз ещё посмотрю, как ты спишь. Двести? Триста? Пятьсот? Их можно сосчитать. Раньше они были бесконечными, эти ночи, я тяготилась ими, я мечтала, чтобы ты наконец заснула и оставила меня в покое, чтобы я могла поработать, или почитать, или просто посидеть в тишине. А теперь я знаю, что их можно сосчитать. И я бы отдала всё. Всё на свете. За то, чтобы их снова стало бесконечно много.

Она протянула руку и коснулась Машиных волос — едва-едва, чтобы не разбудить. Мягкие, тёплые.

И тогда Катя поняла, что должна сделать.

Она не сможет остаться. Это уже решено — там, в сером пятне на экране томографа, это уже решено, и никакой Мюнхен, никакой Хайдельберг этого не отменят, она знала это спокойным, ясным знанием, которое пришло к ней ещё на полу ванной десять дней назад. Она не останется.

Но она может оставить что-то после себя.

Голос, слова, себя — записанную, сохранённую, доступную. Чтобы Маша не смотрела на фотографию незнакомой женщины, чтобы могла нажать кнопку — и услышать. Мама. Вот она. Вот как она говорит, вот как смеётся, вот что она хотела сказать тебе, когда тебе будет десять, шестнадцать, двадцать пять. Когда ты влюбишься. Когда выйдешь замуж. Когда сама станешь мамой и будешь так же сидеть на корточках у кровати и смотреть, как спит твой ребёнок, и думать обо мне.

Я не дам тебе забыть меня, Маша. Я найду способ. Я останусь — хоть как-нибудь, хоть на экране, хоть голосом из динамика. Я не буду пустым крючком в коридоре. Не буду лицом, которого ты не помнишь.

Я обещаю.

Катя сидела на полу детской, в бледном свете ползущих звёзд, и впервые за весь этот чёрный, бесконечный день ей стало не страшно. А ясно. У неё появилось дело. А дела — это понятно. Дела можно делать.

Завтра, подумала она. Завтра найду камеру.

Она наклонилась и поцеловала спящую дочь в висок — едва касаясь, как когда-то её саму целовала мать, быстро и сухо, единственной доступной формой нежности. Только Катя

задержалась дольше. Намного дольше. Вдыхая запах тропического шампуня, и тепла, и сна, и всего того, что было её дочерью.

— Я тебя люблю, — прошептала она беззвучно, одними губами. — Всегда. Слышишь? Всегда. Даже когда ты будешь большая и не будешь помнить.

Маша спала и звёзды ползли по потолку.

А за окном, в темноте майской ночи, цвела черёмуха — белая, горькая, невозможно красивая, — и роняла лепестки на асфальт двора-колодца, где их никто не видел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.